

Стоял тихий майский вечер. А ещё вчера хлестал дождь, и деревья гнулись от ветра, а сегодня замерло всё и точно заснуло. Но эта тишина совершенно живая, тягучая, и потому кажется, что вот-вот оборвётся. “А что станет завтра... Да мало ли что, да и хватит гадать, ведь сегодня мой юбилей...” — усмехнулся Василий Петрович и был прав, потому что ровно шестьдесят лет назад в такой же весенний день и появился на свет Василий Петрович Морозов. И вот сейчас он возвращался домой со своего юбилея.

Время было ещё раннее, но на многих столбах уже зажглись фонари. От них шло ровное, успокаивающее сияние, но на душе всё равно сумрак и траур. И он даже приказал себе: “Не раскисай, юбиляр! Ты ведь теперь долгожитель, так что...” — Но эта мысль, едва вспыхнув, сразу погасла, а в груди ворохнулся тяжёлый комок, и сбилось дыханье. Он расстегнул ворот рубашки — не помогло, и тогда вспомнил про сигареты. Курил Василий Петрович всю жизнь, — дурная, конечно, привычка, но бросить не мог. Да и расстраивала работа, ведь служил он в районной газете, а это не сахар: постоянные авралы, командировки, к тому же всё время на людях, а от них только просьбы да жалобы, точно он прокурор... “Ну, хватит! Побереги нервишки!” — Он сказал это вслух и оглянулся. Но сзади — никого, и тогда

закурил. Табачный дым что-то успокоил в голове и перестало ломить в затылке. Он рассмеялся: “Значит, опять нервишки! Напоминают, чтоб не забыл...”

И снова прав Василий Петрович. Нервишки в последнее время на полном ноле, а сегодня — особенно, ведь о его юбилее написала районная газета, и он с раннего утра ждал поздравлений. Даже сидел возле телефона. Но за весь день — только два звоночка: один — от директора местной школы, о котором когда-то вымучил очерк, а второй — от старого друга из родной деревни. И этот друг — Коленька, Николай Иванович, пожелал ему много всего, а самое главное — прожить ещё столько же, то есть ещё шестьдесят лет. И когда он это услышал, то даже развеселился, потому что сложил вместе две цифры и вышло очень забавно — целых сто двадцать лет! И всё-таки хорошо, что давний друг Коленька вспомнил о нём и поздравил. Василий Петрович тяжело вздохнул и прибавил шаг. А ноги не шагают, как ватные... Вот она голубушка — старость! И он стал сердиться на себя: зачем так рано ушёл с юбилея, там же были хорошие разговоры и даже вино. Правда, в редакции он уже не работал — год назад уволился из-за болезни, — но там всё равно сообразили банкет. Конечно, банкет — сильно сказано, ведь всё было почти по-студенчески: просто собрались вместе друзья-сослуживцы и выпили по рюмочке, ну, а потом по другой. А уж после третьей развеселились, запели песни — праздник так праздник! А он сидел сам не свой, так заболела душа — хоть бейся о стену! Ведь он-то ждал, что его поздравит районное начальство и даже вручит приветственный адрес. Он и о большем мечтал: вдруг, мол, кто-нибудь в областном центре вспомнит о нём и пришлёт телеграмму. Но, видно, никто не вспомнил, не догадался. И он совсем помрачнел и замкнулся. Его о чём-то спрашивали, но он точно оглох. Но друзья не отставали и ждали от него каких-то слов, откровений. И тогда он медленно, как-то обречённо поднялся со стула и произнёс чуть дрогнувшим голосом:

— Говорить мне нечего. Вся жизнь моя была перед вами. А теперь наступает финал — с моими болезнями долгожителей не бывает... — он ещё хотел что-то сказать, но перебил редактор:

— А повеселей что-нибудь можешь? А то заговорил не по теме... — И Василий Петрович сразу замолчал, потому что обиделся. Но обида жила недолго, и он продолжил:

— А на эту тему лучше всего у Пушкина. Помните:

*Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты...*

И тут его опять перебили:

— Зачем стихи? За окном нынче другая погода... — Так и сказал чей-то уверенный голос. И Василий Петрович вспылил:

— Про погоду не знаю. Но сам я, видно, тоже не нужен. И зачем вы это затеяли — какой-то юбилей сочинили, как курам на смех... — И он поднялся со стула и решил уходить. Но его стали отговаривать, а он не сдавался и даже надел свой плащик... И тогда редактор догадался о его состоянии и стал звонить главе района. Редактор, видимо, что-то задумал, но в телефоне — только короткие гудки. А минут через десять он опять позвонил, и девушка из приёмной раздражённо сказала, что Григорий Семёнович сейчас работает с документами и отвлекаться не может. И телефон замолчал, а лицо у редактора сразу как-то передёрнулось, побледнело, и Василий Петрович теперь окончательно понял, что на него просто махнули рукой. И с такими мыслями он пошёл домой. А на душе такая тяжесть, как будто схоронил самого близкого друга.

Конечно, за свою долгую жизнь он уже привык к печалям. Как говорят — пообвыкся. А самая главная печаль была в том, что детей у них с женой не случилось. Наверно, это Божья кара за что-то, ведь любой из нас —

в тяжких грехах. Но всё равно человек мечтает о радости, и потому они взяли на воспитание сиротку — родного племянника, родители которого погибли в автоаварии. И был этот малыш — одна жалость. Взглянешь на него, — и горло сожмётся: такой он худенький, крохотный, похожий на куколку. Тронешь за плечики, а там — одни косточки. Сожми посильней — и сломаются косточки, но зато по характеру — весёлый, как ручеёк. И звали его Ваней, Ванечкой, и в это имя они сразу влюбились. Но только не долго звенел ручеёк. Ванечка прожил с ними всего два года, а потом свалилась беда — приёмный утонул в Тоболе по весеннему льду. Горе какое — не пережить, да и они с Любушкой виноваты: отпустили Ваню к Нине Павловне, к тёще. Правда, он вначале был против, но жена настояла: пусть, мол, сынок побегает на воле, подышит. Ведь весна крутом, какой воздух! Так же, наверно, думала и мать её, потому что отпустила внука поиграть за ограду. А там сразу нашлись друзья, которые и сманили Ваню к реке. И на льду начались у них игры. И никто из них не подумал, что играют со смертью. И доигрались: лёд провалился. Стали кричать, но вблизи — никого. Правда, берег-то рядом, и те, кто покрепче, выбрались на сухое, а самый слабенький утонул. И это был Ванечка — отзвенел ручеёк...

Его долго искали, даже из города вызывали спасателей, но где же найдёшь... А вскоре пришла большая вода — половодье, и Ванечку, видно, унесло в океан. Унесло, схоронило, и теперь его худенькое тельце тает где-то в холодных глубинах, а может, уж ничего от этого худышки не осталось — только душа. И вот она-то и навещает всё время, напоминает: жива, мол, я, жива и жива, и ничего вам не простила и не забыла, вы же не сберегли меня, не сумели. И такие упреки поджидали часто, когда и не ждёшь...

И вот сейчас он снова вспомнил о Ванечке и сразу замедлил шаг. А потом и вовсе остановился, потому что так зануло в груди. И сразу отяжелели ноги, как будто увязли в песке. Такое и раньше бывало, но к этому не привыкнуть, потому что в такие минуты откуда-то вылезает страх. Особенно страшно за сердце, ведь оно, родимое, точно срывается с места и куда-то спешит и торопится, как будто сзади погоня. И вот опять всё повторилось, но теперь по-другому. Но что толку, ведь всё равно тяжело дышать, и сердце ворочается где-то у горла. Теперь бы куда-то присесть, но куда? Глаза озираются и что-то мучительно ищут, и, наконец, находят. Совсем рядом с ним — заброшенный сквер, а там — скамеечка под кустами сирени. На неё-то и плюхнулся Василий Петрович и с трудом отдышался. И когда выровнялось дыхание, он даже повеселел, ведь в такие минуты как бы заново оживаешь. В честь этого даже достал сигарету. Помял её в ладони и близко-близко поднёс к глазам, точно впервые увидел, а потом бросил под ноги. Курить расхотелось, и он даже приказал себе: “Давай-ка, забудь эту гадость! Надо же когда-то забыть...” — Он пробормотал это вслух и сразу же огляделся — вдруг кто-то услышал. Но вокруг никого, только слышно, как шелестятся листья сирени. Ветра не было, но листочки всё равно шелестели, подрагивали, точно хотели что-то сказать. И какие запахи! Наверно, много здесь разной мяты, полынки, и всё это дышит, волнуется, а самое главное — утешает. И он даже закрыл глаза. Можно подумать, что он задремал, но это не так: Василий Петрович всё слышал и чувствовал, да и мысли, как живые горошины, перекатывались в голове, принося печаль. Он попробовал переключить себя на другое, и стал думать о Любушке, о семье. Но как-то сразу, в то же мгновение мысли точно стукнулись о какой-то забор и замерли в ожидании. А чего ожидать-то, если Любушки уже нет на земле, да и дети были только в мечтах. И он рассмеялся: вот и сиди, мол, мечтай и не дёргайся, а лучше побереги свои нервы, ведь вокруг тебя пустота, голое поле, и пора бы привыкнуть. Но как к этому привыкнуть, как?.. А потом поднялся и самый главный, самый тяжёлый вопрос... Но если вокруг тебя пустота, чёрная яма, то для чего ты вообще живёшь, точнее, доживаешь? А ведь это правда: день ко дню — и прошла неделя, а потом и другая неделя прошла, а впереди — никаких надежд, совсем никаких. Особенно после того, как побывал в больнице. И больница была серьёзная — областной онкодиспансер. Там ему сделали операцию на желудке, — “вырезали совсем пустячок...” —

объяснил хирург и сразу же успокоил: страшного, мол, пока ничего, это пока начальная стадия. Правда, мол, необходимо облечение, ведь болезнь с характером, и нужно подстраховаться. Но пока всё путём, да и организм, мол, ещё не изношен... И больше ничего не сказал хирург, но всё равно — точно опустил в яму. Да и виновато, наверное, это слово “пока”, повторённое трижды, ведь он-то ждал, что его успокоят, утешат, а ему всего лишь дали отсрочку. Да, отсрочку от последнего часа... И с того дня всё пошло кувыркком, и он жил, как приговорённый. Так что какие теперь желанья — разве только заказывать гроб. А ведь совсем недавно он о многом мечтал, строил планы, великие планы. И даже книгу замыслил о своих земляках — какую-то добрую, светлую книгу, — и хотелось назвать её красивым и редким словом. Можно было даже использовать пушкинскую строку — “однозвучной жизни шум”... О, Господи, когда это было, да и было ли — может, только снилось, мечталось, может, только... “Но нет, нет, это неправда, — вдруг ожил в нём какой-то решительный голос. — Ведь лежат где-то даже черновики и наброски к книге. Вот найти бы их, оживить... Но только зачем, кому это нужно? Да и время сейчас другое. У всех в голове только деньги, да и книг никто не читает. Даже от личных библиотек избавляются, выбрасывают книги прямо в сугроб, на помойку. И не стыдно, не страшно. Ведь даже Пушкин не нужен — и его, родного, туда же, в большое мусорное ведро и за дверь. И никто не прекратит это зло, беспредел. И хоть бы какой-нибудь островок среди этого зла”. Ведь и в редакции — те же печали. А он-то вначале радовался этому месту. Ради газеты даже оставил родную школу, где ему предлагали вести уроки литературы. Это было сразу после института, но он променял своё учительство на газету. И даже переехал в райцентр. И там, в редакции, нашёл то, что искал. Ему поручали самые тяжёлые задания, и он выполнял их с честью, доводил до конца. И такое продолжалось из месяца в месяц, и он даже заработал прозвище Правдолюб. Но потом...

Да, потом что-то случилось: то ли надоели ему чиновники, то ли он понял, что его правда никому не нужна. Ведь всем в районе правила партийная власть, а спорить с ней — удел идиотов. А он и не спорил, а жил теперь по инерции: прошёл день — и ладно, а потом и второй день прошёл, и третий, а потом и месяц промелькнул, как не бывало. Ведь целый месяц — и как хорошо! Да просто чудесно, потому что ни с кем не поругался и не судился, и даже благодарность получил от редактора. И так бы дальше жить-поживать, но подкачала душа. В ней всё равно что-то распалось, разладилось, и начались вопросы, сомнения. Поднялся и самый главный вопрос: ну, почему ты так рано сдался, почему боишься начальства, почему... почему? А раз начались вопросы, то после них и подкралась болезнь. Но вначале он ничего не заметил — мало ли что у человека болит! А болезнь всё равно жила уже где-то рядом, за каким-то кустиком, буторком. Она сидела там и ждала, выжидала. Так же охотник порой выслеживает зайчишку: спрячется где-то в засаде и караулит каждый шорох. Но вот показались серые уши — и грянул выстрел. И часто пуля не убивает, а только ранит, и это хуже всего. Ведь теперь зайчишка — подранок и кандидат на тот свет. Вот и Василий Петрович теперь такой же подранок. Его, правда, всё ещё держали в редакции, но он понимал, что это из жалости, а это — беда. И он не выдержал и написал заявление, а там — всего несколько слов: “Прошу уволить по собственному желанию”... Его, конечно, сразу уволили, ведь зачем возиться с больным человеком, приговорённым. А вскоре и Любушка умерла, так что было одно горе, а стало два, и он ушёл в своё одиночество, стал сторониться людей. А те тоже о нём забыли. “Да, да, забыли и отвернулись, так что не удивляйся, что начальство не заметило твоей юбилей... Не удивляйся”. — Последние слова он произнёс опять вслух и опасно оглянулся. Но вокруг — по-прежнему тихо, бесплодно, только мелькают какие-то блики, и это пугает. Но, может, просто устали глаза. Он поёжился и поднял воротник плаща. Со стороны можно было подумать, что он хочет от кого-то спрятаться, затаиться. И это — правда, ведь в последнее время, после больницы, ему постоянно кажется, что все на него смотрят как-то жалостливо, прощально, словно бы заранее хоронят и отпевают. Ну конечно же, это так, потому что

знают, что он уже не жилец, что все сроки его прошли и скоро-скоро наступит последний час. И это ожидание конца — мучительно, страшно... Так что лучше бы сразу, без промедленья. Конечно, это лучше, и меньше боли, это было бы, как подарок... “О, милые мои, чего это я? Какой подарок, чего ты несёшь?..” — Он опять сказал это вслух и закрыл глаза. А потом снова громко-громко что-то забормотал, но это уже были не слова, совсем не слова, а какие-то клочки и обрывки. И так продолжалось с минуту, не больше, а потом наступил провал — тишина, и он достал сигареты. Но прикурить долго не мог, спички почему-то ломались, не зажигались, наверно, потому, что дрожали пальцы. И он на себя разозлился: “Ну, чего ты расклеился! Постыдись!..” — И слова опять были резкие, как приказ, но вдруг всё изменилось, куда-то ушло, и он заговорил шёпотом, как заговорщик: “А что если... если... Ну, давай договаривай и только не трусь, не прячь голову, а сделай сразу... Да сразу, без промедленья. И можно даже сегодня, ну, конечно, сегодня... Но только не трусь, не откладывай. Вот придёшь домой и возьми горсть таблеток. Ну, тех самых, которые от бессонницы. И ты их целую горсть — в себя, ведь в этом спасение. И сразу — прощай все страхи, мучения, и ты заснёшь навсегда — вот и делов-то... Всё равно когда-нибудь умирать, так что лучше уж сразу”... — он скривил губы, наверно, хотел улыбнуться, но вместо улыбки получилась гримаска. А потом посмотрел на небо. А там начинался праздник. И он назывался — звёзды...

Эти звёзды стояли так низко, что можно было до них даже дотронуться, если позволят. Придя домой, он быстро подошёл к книжному шкафу. И вот уже в руках у него — толстый блокнот в кожаном переплёте. “Ну, здравствуй, Ванечка! Давненько мы с тобой не общались, не разговаривали...” На первой странице — крупный заголовок, выведенный густыми чернилами: “Жизнь нашего Ванечки, описанная отцовской рукой”. Он ещё пролистнул несколько страниц и начал читать: “Сегодня 20 мая 1998 года. Сегодня мне стукнуло пятьдесят. Старость я решительно отменил и прогнал за дверь. И это случилось тогда, когда у нас появился Ванечка — наш сынок. А появился он недавно, всего месяц назад. Всего только месяц, но это были дни нашего счастья, которое всё ещё продолжается, и молно Бога, чтоб никогда не кончилось. И теперь у нас всё по-другому: моя Любушка сразу помолодела, а сам я уже не хожу, а летаю, как будто мне двадцать лет. А вот нашему Ванюше только четыре годика. Говорят, что это самый волнующий возраст, и потому я буду записывать всё самое главное из жизни нашего сына. Правда, мне трудно отличить, где главное, а где пустяки. Но пока я твёрдо знаю, что мы с Ванечкой поедem в Михайловское к Пушкину. И это случится, когда сынок подрастёт. А сейчас я буду жить с этой мечтой. Ведь у всех православных есть такая мечта: одни хотят побывать у Гроба Господня, другие — поклониться могиле поэта, а он для них — такой же святой. И когда я побываю в Михайловском, то возьму горстку земли с этой могилы и вложу её в ладанку, которую носят у сердца. А потом подрастёт наш сынок, и мы соберём его в первый класс. И вот тогда я вручу ему ладанку, и она будет у него рядом с нательным крестиком. Господи, дожить бы до этого дня...” — И в этот миг чтение остановилось, у него зарябило в глазах, наверно, очень устал. Ведь позади такой трудный день. И он тяжело вздохнул, растегнул ворот рубашки, чтобы легче дышалось, потом подошёл к окну. Оно было закрыто, и он прислонился лбом к стеклу и стал рассматривать улицу, но там — никого. Только в доме напротив светятся окна. “А может, зайти сейчас к Ольге Ивановне? Посидеть, поговорить по-соседски... Но как зайти, ведь она даже его не поздравила”. Он усмехнулся, передёрнул плечами. “Ванечка с нами уже целый месяц. И за это время он только раз спросил, где его папа с мамой. А мы с Любушкой сказали, что они уехали в санаторий лечиться. Ничего лучшего мы не придумали, но Ваня отнёсся к нашему сообщению очень спокойно и даже улыбнулся. Он просто приподнял голову с подушки, а глаза весёлые, и на лице — улыбка. И какое счастье смотреть на него, даже описать невозможно, даже слова пропадают... А может, Ванечка уже любит нас?.. Может, может, а разве не так? Но если даже это мечты, всё равно хорошо, как будто жизнь ещё в самом начале. О, Господи,

прости меня грешного, недостойного, но я не знаю, что с собой делать. Такая во мне наивность, мальчишество, а ведь прожил уже целых полвека и жить ещё собираюсь. Но как жить, как сохранить душу свою на наших ветрах? Вот сейчас на каждом шагу клеймят коммунистов и то советское время, но ведь взамен ничего не предлагают. Зато сделали из денег какое-то божество. И все на него молятся, почитают, а ещё поголовно воруют. И куда ни придёшь — везде у тебя выворотят карманы. И не приведи Бог заболеть или решиться на операцию — потом до самой смерти будешь в долгах. Особенно жалко детей. Порой, включишь телевизор, а там объявляют сбор денег для какого-то Коли или Тани, Наташи. Им нужны деньги на лекарства, без которых они просто умрут. Тяжело это, страшно, и я сразу нажимаю на кнопку. Но голова-то уже раскалилась: ну, почему нет денег даже для самых маленьких? А может, разворовали уже всю казну? Зато под окнами у нас вереницы самых дорогих и шикарных машин. А кто в них сидит — не буду судить. Но Господь-то всё видит и знает, так что никто не уйдёт от суда Его. А сам я только об одном прошу Отца нашего, чтобы Он дал Ванечке побольше здоровья, чтобы не попал сынок к этим врачам-торгашам. Но не буду больше продолжать, не буду, потому что опять меня занесло не туда. Ведь я назвал нашего Ваню — сынком, а это — пока мечта. Правда, часто мечты сбываются, разве не так?..

А пока каждый день для нас — праздник, потому что наш Ванюша — очень живой, неумный. И за ним нужен глаз да глаз. Вот вчера к нам в створочку залетела бабочка, и такая красавица — прямо слов не найду. Но от красоты часто беда, и сынок потянулся к ней и выскользнул из кровати. А она у нас высокая, больше метра от пола. И он выпал из неё, а внизу — голый пол. Но сынок даже не всхлипнул. Но у меня-то сердце зашлось, а Ванечке — хоть бы что, значит, крепкий будет мужик, хоть пока и худышка. Но если честно, то мы к нему ещё не привыкли, и потому каждый день — чудеса. Но лучше сказать — кино. К примеру, нас удивляет, что он часто сосёт кулачок, как конфету. И в глазах столько радости, точно выиграл миллион. Но ой-ой, о чём это я? Ведь про деньги он ещё знать не знает, и слава Богу. А главное, что глазёнки играют, потому что каковы глаза — такова и душа. А они у него, как синие льдинки. И они горят, вспыхивают и не отпускают от себя. Я только раз в жизни видел такие глаза. А было это давно, ещё в детстве, когда я ходил в пятый класс. Тогда к нам в деревню приехали гастролёры — московские артисты, и мы пришли в клуб смотреть на этих циркачей. Пришли и увидели много чудес. А главное чудо — девочка-гимнастка. Она порхала по сцене, как птичка, и вся была лёгонькая, беленькая, как голубок. И всё на ней трепетало, играло и тоже было готово взлететь. И всё поражало, особенно белизна. Она хлынула на нас от её белого платья, от белых чулочек, от белого платочка на голове, от лица. А на прекрасном лице — эти глаза. Я увидел тогда их совсем близко, так близко, что даже зажмурился. И меня можно понять, ведь я окунулся с головой в синеву... А потом случилось то, чего и не ждали: девочка выбежала в зал, чтоб собрать подарки, и кто-то стал бросать ей в сумочку конфеты, монетки, а кто-то просто благодарил словами. И вот она уже стоит передо мной и громко шепчет: “А ты, мальчик, чем нас порадуешь?” И я даже дышать перестал, а она снова: “Ну, чем?..” И мне стало стыдно, потому что в карманах у меня было пусто, и я продолжал молчать. А девочка, наверно, обиделась, потому что сердито блеснули её глаза. И опять синева обожгла меня, напугала. Вот такие же глаза и у нашего Ванечки. Такие же синие, как льдинки. Но лучше сказать, как искорки, и так же горят и мерцают...

И эти глаза постоянно следят за птичками. Очень их любит сынок, прямо сходит с ума. Увидит, к примеру, на клёне сороку и начинает махать руками, а сам весь на взводе и что-то кричит. И не понять ничего, а глазёнки сияют. Он у нас и курочек обожает. Но это легко сказано — ему надо с ними дружить. Да, да, это правда. Увидит где-нибудь соседскую курочку и сразу за ней, а сам волнуется и бормочет — ко-ко-ко. А курочка от него наутёк, а он за ней и ничего перед собой не видит, не чувствует — такой у него азарт...

А об игрушках скажу особо, их у него целый склад. И в основном — грузовички, самосвалы. Любушка покупает их каждый день, и её не остановить никак. Но новой машинки ему хватает ровно на час. Он их разбирает, ломает и постоянно стучит ими по стенам, по мебели и кричит на весь дом: “Авария, авария!” А то начнёт игрушки подбрасывать кверху, а сам что-то бормочет и восклицает — вот какой у нас сын. Моя Любушка как-то сказала, что он у нас — Маугли, такой же вольный, природный. Она так сказала, и я обиделся: какой же он Маугли, если он наш сынок. И моя Любушка покраснела, словно бы виновата, но я сразу обнял её и прижал к себе, и мы быстренько помирились. Да и расстраивать её не нужно, ведь она у меня вся в чувствах, в терзаниях. Недавно её опять упросили вести литературу в старших классах, и она, как на грех, согласилась. И вот теперь перед нами вопрос: что будет с нашим Ванечкой и как нам жить? Потому что мне к восьми утра надо в редакцию, а Любушке — в школу, а как же сынок?.. Но, наверное, мы поступим так: будем отводить его на весь день к Нине Павловне — моей тёще. Она живёт, правда, далековато от нас, но зато среди чудесной природы, и Тобол прямо под окнами, и в огороде у неё — оазис. Так что Ванюша целыми днями будет теперь у бабушки. И какое доброе это слово, какое-то даже родное, старинное — ба-буш-ка! Вот и я скоро начну стариться и сделаюсь дедушкой. А что поделаешь? Время ведь, как вода, и не удержишь её в ладонях, всё равно убежит меж пальцев”.

Василий Петрович поднялся со стула и прошёлся по комнате, потом включил настольную лампу. А для чего включил — сам не знает, ведь над головой уже горит большая люстра. И теперь стало ещё светлей. Но это хорошо, потому что глаза уже плохо видели, — он погубил их в редакции. И виноваты постоянные ночные дежурства и вечное нервное напряжение, ведь он пережил на своём веку двух редакторов, и каждый был по-своему деспот. А последний даже любил повторять: “Умри, но дай в номер сто строчек...” Вот и умирал на работе Василий Петрович, и часто по десять часов не поднимался из-за стола. Даже вспоминать тяжело, и порой шёл в редакцию, как на казнь. И это было тогда, когда начинались в районе сезонные работы — уборка хлеба, заготовка кормов — или приходило самое тяжкое — выборы. А выбирали кого-нибудь постоянно — то депутатов в районную Думу, то в областную, а то самого губернатора. И в эти дни в редакции — сплошные авралы, командировки, какие-то срочные задания. И за всё надо платить, надо, надо... Платить своим здоровьем и бессонными ночами. Вот и сгубил тогда свои глаза и нажил гипертонию...

“Его уже нет с нами, но это неправда. Он никогда для нас не умрёт, никогда. Вчера было десятое мая, в этот день ему бы исполнилось шесть лет. И рано утром, когда все ещё спали, я сходил на то место, где погиб наш сынок. И сразу вышел на обрыв, огляделся, ведь Тобол нынче опять удивляет: вода в реке мутная, нехорошая и вся в воронках. Что поделаешь — наводнение, природе не запретишь. А я стою на обрыве, на самом высоком месте, и со всех сторон ветер, и начинается дождь. Но что мне этот дождь, если мои мысли далеко, далеко. И я вспоминаю, мучительно вспоминаю тот злополучный март. Ванечка всё равно живой, я даже слышу его дыхание. Ведь только глаза закрою, и снова он рядом, можно даже потрогать. И часто вижу его в кровати. Он лежит там и что-то лепечет, губы вытягивает, но слов не пойму. Да и что понимать, если чувствую, что ему возле нас хорошо, — глазёнки так и играют. А мы с Любушкой всё замечаем и стоим возле кровати. И даже дышать боимся, ведь там лежит наше чудо”.

Василий Петрович тяжело вздохнул и отложил дневничок. Он не смог дальше читать, не выдержал, потому что в глазах опять поднялись эти двое. Поднялись и куда-то не уходят. Но ведь нет уже их и не будет. Постоял с минуты в раздумчивости и стал открывать створочку. Но открывалось с трудом, и он дёрнул посильнее, и сразу из притвора выпала какая-то красненькая открытка. Он поднёс её близко-близко к лицу и глаза прочитали: “Дорогой Василий Петрович! Заходила к Вам и хотела поздравить, но Вас не застала. А зайти ещё раз не смогла — заболела серьёзно дочь. У Настеньки температура под сорок и заложило в груди. Я боюсь воспаления лёгких, ведь сырость

кругом, весна. Сейчас сиюж возле Настеньки и чуть не плачу. Я же медик маленько и знаю, как это серьёзно. Но будем надеяться на лучшее, того же и Вам желаю. И потому — с юбилеем! Сердечно с Вами — Ольга Ивановна”.

Он прочитал всё это и вдруг почувствовал, как виноват перед соседкой. Ведь он-то думал, что она не зайдёт к нему, не поздравит, забудет. Нельзя так ошибаться, нельзя.

Улица была совершенно пустая. Стояла глубокая настороженная тишина, даже собаки не лаяли. И он рассмеялся: “Видно я один такой полуночник...” А ноги уже плохо слушались, и он с трудом переставлял их, но они всё равно шагали, шагали. Так прошло минут десять, а может, и побольше, и он остановился, чтоб отдохнуть, а потом посмотрел на небо. Там такое же безмолвие, тишина. Звёзды куда-то двигались, перемещались, но всё это тихо, беззвучно. Но смотреть на них — всё равно утешение.

Василию Петровичу хотелось побыстрее выйти к реке. Она где-то ещё таилась и укрывалась, хотя в воздухе стоял уже густой, сыроватый запах — так пахнут часто речные кувшинки или камыш. А вот и сама река. Берег был высокий, обрывистый, и Василию Петровичу захотелось постоять на обрыве — там больше воздуха и простора для глаз. Так и есть — дышалось здесь легче, свободней, зато тело облипли какие-то мошки, но он догадался, что это усталость, и хорошо бы куда-то присесть. И тогда глаза отыскали сухой пригорочек — чем не сиденье! — к тому же совсем рядом, прямо у ног, плескалась река. Там что-то постоянно оживало и вздрагивало, как будто в воду бросали камни. Но это, конечно, играла рыба, и он скоро привык к этим звукам, и они даже успокаивали и умирляли нервы. Зато воздух, какой воздух! Не надыхаться! Так пахнут ранней весной луговые травы, но здесь запахи были ещё гуще, сильнее. И это потому, что на другой стороне Тобола разметнулась берёзовая роща. И эта роща сейчас, в середине мая, вся зеленела, благоухала, и чудесные запахи надвигались с того берега, и нельзя от них было никуда укрыться, да и зачем? Ведь душа уже радовалась и без конца повторяла: “Как хорошо здесь, чудесно...” А сверху как-то внимательно, по-матерински посматривала луна. И Василий Петрович поднял глаза на неё и тихо-тихо сказал, даже не сказал, а прошептал: “Какая ты всё же красавица, не отрывал бы глаз...” И луна, наверное, поняла его, потому что засияла ещё сильнее, уверенней, и Василий Петрович разволновался. Он даже привстал с пригорочка и осторожно спустился к воде. Вдохнул полной грудью и огляделся. Вокруг — пусто, бело, и лунный свет над водой, как серебряный, даже больше глазам. Он постоял так с минуту, и вдруг в голову зашла странная, совсем не понятная мысль: “А что я здесь делаю? То ли кого-то жду, то ли встречаю...” Но эта мысль, едва возникнув, сразу оборвалась, потерялась, потому что её спугнули какие-то непонятные звуки. Василий Петрович даже затаил дыхание, и скоро все страхи его прошли, как не бывало. Да и какие тут страхи, если душа уже поняла, догадалась — это же соловьи! Но всё равно не было полной уверенности, понимания — ну, и пусть, ну, и что же! Ведь всё равно эти звуки были уже рядом, совсем рядом, где-то на расстоянии ладони. Василий Петрович вдохнул полной грудью и закрыл глаза, а звуки всё так же дробились и таили, и вместо них поднимались другие, и всё это томило, укачивало, точно во сне. Но иногда они куда-то пропадали, проваливались, потом возникали снова и снова, и были ещё лучше, сильнее. И он не сдержался и как будто выдохнул из себя: “Будем жить, дорогие мои! Будем, будем, и я вместе с вами...”

В ногах откуда-то появилась сила, уверенность, и ему показалось, что он сбросил с десяток лет. Пахло сыростью, камышом, ведь он опять шёл вдоль берега, и где-то рядом жила река. Он тяжело вдохнул и поднял глаза на звёзды. Они почему-то не давали ему покоя. Они как будто хотели что-то сказать или что-то напомнить, но не пришла ещё та минута. Он передёрнул плечами и улыбнулся. Очень ехидно улыбнулся, прищурился, а в глазах поднялся упрёк, и это был упрёк самому себе, и опять заговорила душа: “Я ведь тебя вижу насквозь, дорогой Василий Петрович! И не надо тебе врать и оправдываться, ведь грехов у тебя — полный короб, можно даже кому-то отсыпать. Да, да, дорогой, и не спорь! А лучше помолись и покайся. Ведь где-то

рядом погиб твой сынок, и душа его, поди, рядом. А сейчас смотрит на тебя и надеется, ждёт. Так что покайся...” И Василий Петрович приподнял голову, огляделся: на воде мерцали светлые блики, и они то сбегались, то разбегались, и ему почудилось, что они живые и похожи на змеек. Конечно, похожи, ведь такие же юркие, быстрые, их не поймаешь и не поддержишь в руках. И Василий Петрович устало закрыл глаза. “Ты же сам во всём виноват, только сам... Да, да, виноват, и не спорь. Тебе же взятку подсунул Завьялов, и ты проглотил её, как наживку. И проглотил, не моргнув. А если б Ванечка вырос и спросил у отца, на чьи деньги их дом построен? И как бы ты ему ответил? Неужели стал бы обманывать сына, ловчить... Нет, конечно, не стал бы, но тогда — что бы ответил?...” Ему стало трудно дышать и заболело под левой лопаткой. И боль поднялась в плечо, потом в руку, и он стал перебирать в уме какие-то стихотворные строчки, — иногда это помогало, — помогло и сейчас. К тому же отвлекли голоса. Он огляделся и сразу заметил на другом берегу какое-то движение и даже услышал стук топора. А потом мелькнул огонёк, и Василий Петрович насто- рожился: что это, что? И вот уже огонёк превратился в костёр, и сразу от души отлегло, — значит, это туристы. Но всё равно ещё не было полной уверенности, и он снова прислушался, даже приподнял голову. Теперь голоса звучали громче, отчётливей, и среди голосов возник женский смех. Это почему-то совсем успокоило, и он закрыл глаза. И так прошло минут пять, а может, и больше, и голоса стали слабеть, истончаться, и скоро тишина окутала всё, как одеялом, и оно было тёплое, пуховое и принесло с собой чудо. Ну, конечно, чудо. Разве это не чудо, если он вдруг куда-то полетел, воспарил... А чудо не кончалось, а даже наоборот — его делалось больше, всё больше, и теперь он видел, отчётливо видел, как там, на земле, растут деревья и травы, как передвигаются взад-вперёд машины и люди, как летят куда-то молчаливые белые птицы. Но откуда они — эти птицы? Может, это какой-то мираж, наваждение, и он просто задремал и ушёл в себя, и сейчас всё пройдёт, и спадёт пелена.

Василий Петрович ещё раз взглянул на реку и застегнул плащ на все пуговицы. В воздухе стало прохладно, подул ветерок. И скоро падёт роса. “О, Господи, мне-то что до этого... А может, ты снова трусишь, убегаешь в кусты?... Хватит ныть! Прекращай! Жизнь ещё не закончилась. И не зарывай себя раньше времени...” Он сказал это вслух и огляделся. Улица по-прежнему была пустая и стояла вся в белом. Это цвела черёмуха. Её было так много, что она заполонила всю улицу. И какие запахи! Возле дома Ольги Ивановны он остановился. В окнах вспыхивали голубоватые огоньки, — наверное, работал телевизор. И он подумал: а может, зайти сейчас, навес- тить? Но только почему в доме всё перепутали? Ведь скоро уже утро, а там, поди, не ложились. И вдруг дошло до него и сразу отнялось дыхание: а может, с Настенькой плохо, ведь в открытке сказано, что она заболела. Господи, но что же случилось? А может... Может, Настенька уже умирает? Но нет, нет, так не будет! И ещё что-то пронеслось в голове, но его оглушила машина. Она загудела под окнами и остановилась напротив. Это была “ско- рая”, и Василий Петрович сразу бросился к двери. А вот и крыльцо, и он чуть не упал с него, но удержался. Сердце бешено колотилось, и он не помнил, как выбежал на улицу, как оказался у дома напротив. Ворота были закрыты, и он стал стучать в них изо всех сил.

*Уважаемого Виктора Фёдоровича поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, светлых дней и добрых читателей!*

Коллектив журнала “НС”